

---

---

Елена ЧЕРНИКОВА

## ПАРТИТА СОЛО

### Рассказ

...В ноябре 1982-го Лёня с однокашниками прошел очередью всеобщего горевания в Колонный зал Дома Союзов, где стоял гроб с телом Л. И. Брежнева. Пошел Лёня из любопытства к тезке и видит: народ в полном составе явился на похороны, которых как бы не могло быть никогда. Брежнев правил с 1964-го по 1982-й, вошел в анекдоты, забронзовел, и в его *когда-нибудь* не верилось. От Тверского бульвара до Колонного зала, где рукой подать, шли четыре часа, люто промерзли, но зато впервые посетили передвижные общественные туалеты — вагончики на колесах. Правительственный ритуал — с избыточным черным крепом, сплошной охраной вдоль уличной процессии, с недостижимыми родственниками, закутанными в антрацитовый траур, с караульными курсантами в невозможно гладких сапогах будто черного воска — увидел юный филолог впервые и, вдохнув густые запахи похоронной хвои, что-то узнал, но не понял. *Ароматизированная скорбь*, — подумал он задиристо ноябрьской ночью 1982-го. «Юношеский дилетантизм чувств, когда политическая палка-галка видится могучей фрондой», — написал он в следующем веке. А в памятном ноябре, переживая чужие похороны как личное событие, подумал он терпкое что-то, новое, не нашел точного слова и заснул.

Очнулся профессор в январе 2020-го: «...греза правоты большинства, выраженная в энергической любви к парламентаризму, проклевывается внезапно, туктуктукает в скорлупу, ломает ее вместе с Фабержевым яйцом империи, смотрит озадаченно, как вытекает желток крови», — фразистая бессмыслица пришла ему во сне синими буквами по золотой бумаге. С востока микрочингисханом наступал вирус. Профессор прикинул: в Москве примут эстафету к марту. Время на библиотеки еще есть.

Он открыл глаза и записал претенциозный *желток крови* на телефон. Усмехнулся: все пишу, жду свою «Чакону», все надеюсь... Однажды в позднем детстве, ежедневно

---

Елена Черникова — автор многочисленных книг прозы и учебных пособий. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Москва», «Октябрь», «Знамя», «Сура», «Дружба народов», «Шахматное обозрение», «Южное сияние» (Одесса), «Новый Свет» (Торонто) и др. Составитель-редактор поэтических сборников «Поэты настоящего времени» (коллективный), «Темные Плеяды» (Александр Вишневой, Симферополь). Член Экспертного совета Международного конкурса «Слово года» (с 2012). Руководитель проекта «Литературный клуб Елены Черниковой» в Библиоглобусе, Москва (с 2011). Руководит отделом прозы на Международном литературном портале Textura (с 2018). Произведения Е. Черниковой переведены на английский, голландский, китайский, шведский, болгарский, португальский, испанский, итальянский, греческий, французский и другие языки. Родилась в Воронеже. С 1977 года живет в Москве. В журнале «Нева» публикуется впервые.

сочиня мутные, скуловоротно вторичные, нудные любовные стихи, он успел во сне поймать хорошую строку и донес-таки до бумаги, но вспомнить стих полностью не смог: утром музыка застряла на связках, не войдя в слова. От мучительной фрустрации связок заболела голова, замутило, а когда дурнота ушла, он, в пубертатном маразме максимализма, раз и навсегда запретил себе надеяться на подарки темноты, щели времени, бесплатные озарения, проколы сути, соло Бога для него единственного, прочая, прочая.

«...Или словцо! Придет — а смотреть противно, даже если правда...» Прокатал шершавое словцо по небу: *обезнароживание* через овцинацию. Себе Леонид Ильич, желая здравствовать, в разгул вируса 2021-го выправил медотвод от любых прививок, вследствие чего был отодвинут от кафедры. Зрелая фронда — риск, но тут уж извините: в нашем сословии, обронила его будущая теща, вручая ему свою дочь в 1985-м, страх не принят.

Сладострастно швырнув *обезнароживание* кафедральным овечкам в коллективную морду и получив ближний хук, он поднялся из нокаута и на прощание врезал определением: «...окончательное и глобальное низведение понятий „народ“ и „народы“ до атомарного уровня „электорат (избиратель)“, „налогоплательщик (инструмент поддержки бюджета)“, „потребитель (покупатель товаров и услуг, постоянно находящийся в обусловленном потребностном состоянии)“ через высокоорганизованную процедуру запугивания с применением медицинских терминов и фельдшерских манипуляций. Пример употребления: „Больше не будет народа, чтобы вывести его из Египта: возлюбили фараона после массовой овцинации, пали ниц, умоляя стреножить всех и каждого, дабы не выбежали в пустыню, как неразумные предки, вожделевшие обетованной земли...“»

Уволили бесхитростно: по сокращению. И словно чеховский Гуров на ялтинской набережной, без обязательного сценарного *вдруг* — он попал в рай. «Чехов исключителен и велик, ибо жил *без убеждений*, спокойно говорил об их отсутствии и никого не ругал, а суровая девица Мария Павловна не могла вынести его свободы и густыми чернилами цензурировала письма, чтобы сделать брата интеллигентом в бородке». Эту слишком авторскую лекцию по основам Чехова профессору припомнили при подписании обходного листа, хотя времена уже прошли. Оказалось, на доньшке кое-что еще было.

Чехов теперь приходил к профессору, как братья Оле-Лукойе по-русски, напоминал, что по-датски — Ооле-Лáкэй, и не надо верить ночным сказкам. Освобожденный Чеховым профессор вволю спал. Над ним как подвесили зонтик первого брата, Гипноса, и — ни тебе дистантов Танатоса, ни формул исторической периодизации. Только мир и рай, краски, цвет и свет, струны, клавиши, строгая партита неба. Чехов руками Гипноса доверительно снимал пенсне, бородку, верную сестру Марию Павловну, верную жену Ольгу, верный Художественный театр и хохотал. Они с профессором хохотали в унисон, глядя в общее настенное зеркало.

Однажды утром профессор вспомнил свою поездку двадцатилетней давности в пижонский парк-отель, примерно в 2004-м. Он арендовал бассейн на одну персону и плавал. Вылез, крякнул и пошел в коттедж. Увидел в аллее пастуха: небритый мужик в серой фуфайке, положив небрежный кнут, медитативно курил на скамейке. За спиной пастуха на, простите, духмяном лугу паслись бараны, доставленные в парк-отельный *контактный зоопарк*. Профессор увидел свежих баранов еще вчера. Их привезли, выгрузили в загон. Бараны беспочвенно шатались, ничуть не страдая от новизны положения. А сегодня сами, без охраны, сгрудились в стадо, замерев, и профессору захотелось понять. Пастух докурил и пояснил:

— Бараны смертельно боятся свободы. Вчера тыкались в границы — хоть и плетеные, прозрачные, призрачные, но — кайф. А сегодня о-па! — луг: пространство, стенок нет — и страшно, будто в космос. Бараны мгновенно выбирают вожака и жмутся к нему.

— А вожак сразу-таки согласен возглавить?

— А у него нет выбора. Он знает свою судьбину.

Профессор как филолог, историк и гражданин удержал картинку на память: громадина майского луга, дисциплинированный мех — бараны кольцом и вожак, осведомленный о своей миссии.

...После увольнения его томили ежеутренне два восторга — счастье, укутавшее душу бархатом, и невыразимость: профессор конфузился сказать вслух, что с февраля 2020-го он счастлив; ведь он, со всеми, вырос на стройке счастья, обещанного а) всем и б) в будущем. Своего собственного не чтит и поначалу слушал тестя: личное-де счастье может полыхнуть коротким фейерверком на ночном пляже под южными звездами и так далее. Ничего интересного. Тропа магистрально вела от пляжа и студенческого стройотряда — в загс, уклад и роддом, у нее климакс, у тебя крематорий. Тесть плохо кончил.

В марте 2020-го профессорова греза, повода неожиданно хрустальными плечами, плавно двинулась по пустой Москве: в городе карантин, можно бесконечно ходить и молчать. Мир замер на краю, рухнул, и *все будет по-другому*. Все. Конечно, хорошо бы составить список, что такое все, но греза вышла хороша: дефилирует весело, как топ-модель Клава Рубероид, которая одна позволяла себе улыбаться на подиуме. Закон высокой моды: чем роскошнее платье, тем строже и суровее лицо; никаких простецких улыбок. Дерзкая улыбка — либо у бедняков-идиотов, либо у реально богатых вплоть до августейших. Поп-певица Мадонна, работающая на ширнармассы, в интервью ответила на вопрос, *что для нее роскошь*, в сердцах: «Носить удобные несексуальные туфли!»

Новая роскошь — не думать, почему искусство не справилось. Профессор утром шел по Москве свободно, ночью танцевал на Красной площади — не оштрафовали ни разу. Он думал о своей главной книге восторженно: можно не дописывать! Вычитал в Интернете: «Все искусства — фото, видео, моно, стерео, кино, цирк, поэзия, донос, памфлет, шахматы, политика, ирония, скорбь, история, спорт, секс, шоу, криминалистика, флористика, танатология, бизнес, философия и даже метеорология — сказали свое слово. Разве что балет промолчал. Но не справились все...» И это правильный ответ на некорректный вопрос. Искусство, умей оно говорить, уж теперь открылось бы: не обещало я никому ничего. Никогда.

Профессор мыркал и гудел на безлюдных улицах, будто сочиняя стихи, как в раннем детстве; он освободился от узкой *народной* темы и стиля научного изложения: он запел изнутри, всей душой и — пережил (но перед женой извинился) воспарение. Над облаками. Ему приходилось молчать со всеми, чтобы не обидеть чувства верующих в вирус. Карантузники все горевали, прятались и спасались, как могли, но не могли. Профессор никому не говорил о своем тайном знании, упавшем на его голову в один день, поскольку об этом не принято говорить: «Вчера моя душа подумала о Боге, родившемся в облике человека. Как же Он решился на это. Как Он верил в творение. Нам и не снилось так верить в Него. Декарт верил, мыслил и существовал, когито в сумке носил, *актуальность и бесконечность* полагал синонимами. Осознанность — антоним веры».

Теперь на заре в голову его, омытую чистым сном, втекала прозрачной золотой рекой музыка: «На горах афонских стоит дуб мокрецкий, под тем дубом сидят тридцать старцев со старцем Пафнутием... Не приходи в сознание. Вывожу из осознанности, заговор знаю — не пробить. Вывожу из осознанности, сиречь из неверия...»

Профессор прежде, до прихода свободы, не дослушивал свою музыку, приходилось бежать на работу, а в обезлюженные времена все притихло, все можно, с неба сдвинули бетон, и стало слышно. Он бегал по улицам, играя с Богом в прятки, и ни одна полицейская машина не остановилась, и никто не спросил, почему гражданин слишком широко гуляет. Профессор еще ребенком мечтал работать на Красной площади хоть кем-нибудь, хоть брусом в составе мостовой, а лучше незаметным историком в красном музее, вольно рыться в желтых бумагах и распаковывать почтенную истину своими руками в белоснежных перчатках. На первом курсе он прочитал, как положено, Карамзина и с *невыразимым ужасом* (выражение из постельной сцены между шевалье Шарлем д'Артаньяном и миледи) увидел, что Ивана Васильевича как *Грозного* придумал Карамзин, а в действительности *грозным* звали его дедушку. Профессор услышал насмешливый голос декана: «Господа школяры, зарубите на носу: Россия — страна с непредсказуемым прошлым!» Упомянутый Дюма тоже не сразу понял и по возвращении из путешествия по России сообщил парижанам: русские в шестнадцатом веке боялись царя Ивана Грозного, так сильнехонько боялись, что «прозвали его *Васильевичем*». Из чистого ужаса.

В оставленную ввиду вируса диссертацию свою о Государственной думе Российской империи первого созыва Леонид поначалу был влюблен страстно, драматургично, сюжеты-конфликты-все такое. Грезил наяву: на законодательной скамье сидят рядышком легковой извозчик и донской казак-журналист, а через ряд — один из лучших диагностов и хирургов России, статья которого о травматических эпидемиях в 1902-м была вырезана и сожжена. Почему?! Что за проблема с травматическими эпидемиями? А как попал в административную ссылку (1904—1905) армянин, дворянин, врач Христофор Иванович Багатуров? Какую нелегальную литературу хранил крестьянин Блыскош Иосиф Игнатьевич, низшего образования, рожденный в 1876 году? А как получил высшее образование и за что был избит «черной сотней» в октябре 1905-го и *потерял здоровье* крестьянин Саратовской губернии, преподаватель и журналист Сергей Иванович Бондарев 1872 года рождения, который тем не менее редактировал «Известия крестьянских депутатов», был членом редакции газеты «Мысль», поначалу внепартийный социалист, примкнул к трудовикам. В Думе выступал о закрытии газет, а в 1908-м получил год крепости по делу «Мысли». Как это все? А почему (вследствие думского опыта?) аристократ Набоков Владимир Дмитриевич, либеральнейший из русских либералов, закрыл собой Милюкова Павла Николаевича, своего политического оппонента, на съезде 1922-го в Берлине, и второй террорист, исправляя промах первого, выстрелил в спину снобу и отцу сноба, то есть один политик спас другого политика ценой своей жизни — ни секунды не размышляя, — как был устроен *этот* рефлекс в организме русского человека?

Профессор, все еще полный школьной памяти о единственно верном учении, мучительно сдирал напластования. Из обретаемой в архиве истории Первой думы выныривал он с полными карманами каменьев самоцветных, богат и царь. Засыпал, обмирая, как в горах, от восторга пред лаконичностью справки по депутату из Витебской губернии: «Брук Григорий Яковлевич... еврей, врач, городской раввин, публицист, бывший редактор „Витебской жизни“, сионист. К.-д, выборжец». К утру симпатия перекатывалась на полную хлопот судьбину Алихана Букейханова, от Семипалатинской области, «из киргизских ханов, высшее сельскохозяйственное образование». Статистик. Публицист. Дальше детектив: «Подвергался репрессиям. Будучи освобожден из тюрьмы перед самыми выборами, Букейханов успел приехать только к роспуску Думы, отправился в Выборг, подписал воззвание и вновь явился в Петербург к процессу, чтобы опять сесть в тюрьму». Чего хотел-то, милый?

Сносив семь пар железных сапог и съев семь железных хлебов из 1906-го, счастливый, переполненный гордостью, эстетически перекормленный Леонид оказался в заколдованном лесу 2020-го: тот же народ, юридический *источник власти*, сидит и томится, одомашнивается, разводится с супругами, с коими вдруг/наконец познакомился; на помойку ходит в наморднике. Не может *это* баранье народло выдвигать и делегировать. В параграфе «Актуальность» стало скучно писать, а ненасущную работу диссертационный совет не пропустит по формальным основаниям. А тут и выгнали; к счастью.

Прощально целовал он на ночь фолианты братьев Гранат: «Лица, подписавшиеся до 1914 г., получают том с географическими картами **бесплатно**, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки. Цена тома — 3 руб., в переплете — 3 р. 50 коп. По примеру Encyclopaedia Britannica карты выделены в особый том». Господи помилуй. Счастье! А выпуск семнадцать он сначала положил под кровать, выхватил — и под подушку; заснул ответственно, сильно и властно. За стеклами метались и верили в НЛО неповторимые снежинки. Ощущение жизни как подарка нарастало. Во сне прежде приходили то марсиане, то короли, а вчера приснился президент России. Он сказал: «Лёня, давай я тебе все объясню!»

Профессор проснулся и написал ему в Кремль памфлет стихами в прозе: «Неужели Вам нравится лексикон обиженных? Послушайте вот этих, у которых лимонные цветочки на беленьких занавесочках из ситчика, земляничники на бело-розовых полотенчиках, веселенькие пчелки на желтеньких с малиновой бахромкой салфеточках гордо трубят о детях, приносимых аистом: он их складывает в капусту. Полученные в обстановке ромашкового целомудрия младенчики питаются молочком и маслом. У них и носик, и животик — все расстроено, как положено, и доктор их пользует молитвой. В коридоре поликлиники сидят и внутрь себя смотрят встревоженными глазками мягенькие духмяные мамочки. Выросши в телочек, бывшие мамочкины младенчики ведут бложики, не стесняясь пяточек, пальчиков и щечек. Одна с ямочками такая замутит пятьсот восьмой на ютубике бложик про еду и, восторга не стерпев, сварганит однажды *щички*: ши суточные для мамочек с младенчиками!»

А президент ему: «Образно мыслишь, Лёня, но несобранно и гневно. Ты как профан: нападаешь на экзотическое, внешнее. А смотреть надо вглубь. Дума первого созыва жила семьдесят два дня, да, годится как эзотерическая энциклопедия русской жизни. Ты, Лёня, лучше напиши роман, Лёня...»

...Получив ответ и все неистовое гуляя по Москве, профессор представлял себе прекрасное свое будущее: вышел из ученого сообщества — войдет в литературное. Станет начальником, издаст приказ по редакции, всех объединит. Примерно так:

Мы условились, что

уже не ждем от русской литературы ни Толстого, ни Достоевского, ни *толстоевского*; впрочем, ждем, но надо предпринять;

место действия *наши дни* подразумевает идейно-тематическую нишу, максимально приближенную ко времени действия *большой город*, sic! — не поправляйте; но если вы живете в *малых городах*, то для пересечения границы редакции обязательны

а) отметка в паспорте о рождении в живописуемом городе,

б) детальное знакомство с концепцией развития регионов Российской Федерации, убедительно подтверждаемое в беседе с заведующим собственными комментариями, планами, наметками, прищуром и умеренно художественной продукцией любого народного промысла, исполненной собственноручно;

любая попытка написать *неодеревенскую прозу* карается гарантированно обидным для авторского самолюбия редакторским действием, а стремление подняться

на вершины производственного (фермерского, спортивного и т. п.) очерка должно сопровождаться нотариально заверенной справкой, что автор *там* был сам лично, а бывши там — не пил алкоголя и на трезвый глаз действительно доил, пас, пилил, восходил, прыгал, рожал детей либо ну хотя бы делал их с помощью живого секса, не обезображенного технологиями;

письменность, обусловленная грыжей (инфекцией, опухолью и пр.) любой этиологии, рассматривается как гламур во втором значении слова, то есть от середины российских нулевых, и по указанной причине отвергается;

смерть, причиненная персонажу автором, обязана иметь считаваемый смысл; единственный персонаж, право на гибель которого не оспаривается, есть лирический герой, тождественный автору, и только в одном случае: непереносимое возвращение к жизни на новом уровне духовного развития (кладки в пирамиде Маслоу, морального обучения по Кольбергу, озарения с просветлением тибетского типа либо других доказуемых достижений);

любовь сколь угодно широкой типологии, воображаемая автором *за других* и не обеспеченная достаточным для возбуждения читательского интереса личным опытом, рассматривается как оскорбление чувств верующих; экспертизы текста на любодостоверность и автора на любогодность проводится специалистами; под *читательским* подразумевается интерес, ощущаемый редактором отдела;

симпатия к фэнтези, проявленная так или иначе, рассматривается как смертный грех — *полное отсутствие чувства юмора*;

включение в текст сайентонимов (теорема Геделя, бозон Хиггса, числа Фибоначчи, прочая) сопровождается предъявлением диплома о высшем образовании в подобающих сферах; в противном случае — смотри участь *неодеревенщиков* и не нарывайся; не надо.

...Профессор умнеет, отгоняет от ушей все жареное, дабы не липло. Бережет свой мозг: возлюбил себя. Сейчас, окажись он на похоронах Брежнева в машине времени, *знал бы, куда смотреть*, когда перед глазами история. Тогда еще мал был, а сейчас понял, что вход в хорошую мысль априори нелогичен. Войти можно странными путями — причем не своими, а любыми, даже вместе с народом. И мысль о народе опять, как в юности, прижгла ему все прочие мысли, как прыщи зеленкой. Президент велел идти в романисты — профессор долго гордился и обдумывал композицию.

Раз пошел проветриться в галерею. Увидел, как впервые, тихие реки Левитана; и — резким звуком разодралась пелена, и в прокол сути засвистал разбойно лунный луч, догоняя солнечный с определенной удалью; и чуть не зарыдал свежий, как роса, забубенный писатель над золотом осени, размашистой теснотой Владимирки, драгоценной свежестью воздуха после дождя, и стал косноязычен и глуп, и *будь я проклят*, если хоть раз еще заикнусь о народе, поскольку весь, кем его ни зови, тутошний народ в открытом космосе, где ни Чаадаева, ни даже Куликовской битвы, ни словечка о величии предков и первом космонавте. Бессмертное линиялое небо вертикалью истинной власти стоит над лугом Левитана, гениального еврея с межпланетными русскими глазами, а прогресс унижен наконец — бранное словцо; и кроме как по воле Божией ничто не происходит, и в том *суть общего дела*.

...Весь день себя раскапывает изумленно, пишет — узнать, что же теперь думает он и любит *на самом деле*, бормочет, как стишки в детстве, плачет и смеется, смиряется и никому партиту не показывает.